

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА

Моисей Кошечкин - 1998 - 2001 - 2002

Егор Зайцев по-прежнему сын своего отца. Он по-прежнему ездит на мотоцикле, дружит с "Ночными волками" и "Крематорием". Он по-прежнему продолжает семейное дело в Доме моды Славы Зайцева. Егор Зайцев — совершенно незнакомый нам человек. Пережив два с половиной года назад клиническую смерть от наркотиков, он по-новому отсчитывает свое время и биографию, полностью сменив взгляд на мир. И мир отвечает ему взаимностью. В коллекциях Егора предстает шаловливым и неожиданно сильным мастером. А в отцовском Доме моды роль кошмарного дитяти обернулась должностью генерального директора. Новая система координат Егора Зайцева выглядит примерно следующим образом: Зайцев Вячеслав Михайлович — Иисус Христос российской моды, мессия и проповедник, остальные российские дизайнеры составляют пантеон.

Я прошел все круги ада и понял, что любовь должна быть платонической



— Егор, а ты кто на этом небосклоне? Не пора ли на Доме моды дописать еще и свое имя?

— Свою судьбу я определил как "человек в железной маске". Два Зайцевых для России слишком много. Я как бы брошен в погреб в железной маске, никто моего истинного лица никогда не увидит, поэтому могу кривляться как хочу. Но в отличие от Филлипа меня никто не придет спасать. Я с этим смирился и понял, что нужно делать свое дело, нужно быть спокойным и упрямым. Но на какое-то чудо я всегда надеялся, и это мне помогает жить. И в этом я еще больше убедился после клинической смерти.

Моего имени на Доме моды быть не должно. Там уже есть моя фамилия.

Тут та же "железная маска" — те же цифры и те же буквы. Моего папу зовут Слава, и слава ему сопутствует. Как она ему дается, никто не знает, я знаю, может быть, одну десятую. Он ведь вечно улыбающийся, порхающий на своих переломанных ногах. А я Егор — это "горе". Это моя ниша, и я в ней существую. Другое дело, что я не опускаю руки.

— Папиным именем в корыстных целях ты пользуешься?

— Я езжу без документов, на мотоцикле нарисована дочка, а в кармане куртки фотографии моей дочки с папой, а рядом фотография папы с Ельциным. И эта цепочка помогает общаться с милиционерами. Когда спрашивают: "А ты кто?", я показываю свою фотографию с Чаком Норрисом.

Когда я не мог видеться с дочкой, я ее нарисовал на мотоцикле. Мотоцикл для меня — символ другого измерения. Хирург любит, когда стая едет. Я люблю один ездить, заглядываю в окна машин, спрашиваю скорость — у меня спидометра нету. Я превращаюсь в какое-то яйцеобразное тело, которое обволакивает некий кокон. Еду и думаю о чем-то своем, полностью отключаюсь.

А если собрать всех обманутых мною грешниц и соблазненных невинниц, то ни одна из них не признается, что я пользовался папиным именем, чтобы произвести впечатление. У меня всегда был комплекс неполноценности. В институте моей фамилией тыкали, я шел как блатной ребенок, преподаватели ненавидели моих папу и маму, и они отрывались на мне.

Я дружил с Ксюхой, сейчас ее фамилия Ярмольник, и мы с ней были главными хулиганами. Когда я принес новые западные журналы, меня обвинили в антисоветизме. А так все время пропадал в "Яме", в пивбаре "Ладья" с уголовниками познавал мир. И только на 4-м курсе я стал учиться. Как раз тогда встретился с Карденом и понял, что мода существует не только в нашем, советском понимании. Под влиянием знакомства с Карденом я работал много лет.

— Как появилась идея много-слоистости, которая часто используется в твоих коллекциях?

— Это все от папы, он на своих лекциях много говорил о много-слоистости, о комплентности, о взаимозаменяемости. И я понял, что без этого нельзя. Мы делаем пальто и показываем на голое тело. А это неправильно. На западе манекенщица пальто скидывает, а там костюм. Но у них на 60 моделей 60 манекенщиц, а у нас манекенщица пере-одевается через каждую минуту. Физически труппа театра не успевает.

У меня "диффузорный стиль" — нет четкого имиджа. Я обожаю гранж, люблю дырки, все всегда передельваю. Я никогда не надеваю ни одной вещи, к которой сам не приложил руку. Поэтому

я никогда не смогу быть рядом ни с одной женщиной, которая представляет собой личность. Я начну ее под себя "перекраивать", лепить по новой.

— Но женщина — это вам не пластилин!

— Поэтому я и стараюсь не вредить. Я ушел в платоническую любовь. Думаю, что на том свете меня будут звать Платоном. Я научился любить глазами и ценить женщин на расстоянии. При ближайшем рассмотрении все это оказывается вульгарным, приходит разочарование. Поэтому самое лучшее состояние — влюбленность и предчувствие любви. Но любить нужно на расстоянии. У меня представление о женщине — как о недоступной принцессе, и теперь я живу как сексуальный девственник. Может, это происходит оттого, что по моему новому календарю, отсчитывая от клинической смерти, мне всего два с половиной года.

Я решил приподнять свою железную маску и посмотреть, каким стал. И я понял, что там внутри все тот же маленький Егорка, который идет с папой по дороге за ручку, папа поет песню "Нежность", и я ему верю! Единственное, что изменилось с тех пор, — я понял, что мир вокруг — скотский. Но надежда маленького мальчика, что в конце концов все будет хорошо, осталась и помогает жить.

— Не поменялись ли вы на самом деле с папой местами? Не ты ли ведешь его теперь за ручку? Ты сидишь в кресле генерального директора Дома моды и всеми силами вытгииваешь его углов суденышко...

— Я — генеральный директор, а он президент! Я — главный художник, а он — художественный руководитель. Просто в один момент мне надоело смотреть, как всякие проходимцы обворовывают мою семью. И я сказал папе, что ему уже пора мне доверять.

И все равно за ручку меня ведет он. Директивы его. Я ему говорю: "Вячеслав Михайлович, вы определитесь, пожалуйста!" Я папу на работе всегда называю на вы, Вячеслав Михайлович. А он меня на ты, Егор или иногда Егор Иванович. У нас деловые отношения.

Я даже когда коллекцию делаю, всегда с ним советуясь. Вот твиды в моей последней коллекции угадал папа. И пока мы твиды нашли, они действительно стали очень популярной тканью.

— Принято считать, что художник в моде придумывает первые пять лет, а потом только повторяет сам себя...

— Это про конструктора. Он может работать с художником максимум пять—восемь лет, а потом уже не развивается. Он может придумать два силуэта, три формы, потом мода меняется, и на новом этапе конструктор отмирает. А художник нет, художник может и до восьмидесяти лет творить.

Если художник просто рисует фасончики, как многие на Западе одевают королевские дома, то они уже не художники, а придворные портные. Фигачат по одному шаблону. Они не дают направления, они творчески не развиваются.

Раньше показы были простыми дефиле под музыку, потом мой отец первым в 83-м году ввел актерскую пластику. Появилось третье измерение — мода стала пространственной. Многие стали это повторять, получили мюзикл. А я в начале 90-х делал капутники, пародии на коллекции, и на Рожде-

чем не по профессиональной, а по человеческой линии, — это было дико обидно. Я знаю, что отец очень ранимый человек, ему очень тяжело жить, поэтому я его всегда прощаю.

Я должен...

Это, как с моим мотоциклом: я его купил за определенную сумму, вложил деньги в ремонт, сейчас по цене он уже подошел к новому мотоциклу, но продать его за эти деньги я не могу, потому что новый столько стоит. Поэтому я на днях снял двигателя, вложу премию за сочинский фестиваль... В профессии так же: я слишком далеко зашел и отступать уже нельзя.

Сомнения — это нормально. Те, кто успокоился и доволен собой, деградируют. Дикая депрессия — это бессонные ночи, разрыв с близкими людьми, крики на сослуживцев. Депрессия и одиночество — мои постоянные спутники. Но, с другой стороны, весь мир в моих руках, и я могу делать все, что я хочу.

Я понял, что нужно творить не абстрактное, а конкретное добро. У меня есть дочка, я буду стараться, чтобы ей было хорошо. Она по гороскопу, как Коко Шанель и Майя Плисецкая, значит, вырастет знаменитой. Но для меня важно, чтобы она просто была счастлива. Хотя она вчера такое вытворила со своей куклой из куска ткани — я просто обалдел, а дедушка был счастлив. Для меня, наоборот, это тревожный симптом: сейчас из ребенка начнут расти гении. Пусть она будет просто счастливой, а как женщину я ее буду воспитывать, чтобы была верной и нежной.

У меня каждый год бывает мутация мозговых отросточков. Раньше я думал о карьере военного, спортсмена. Я профессиональный боксер, самостоятельный рок-журналист, грузчик овощных и винных магазинов с большим опытом.

Я не тепличный ребенок — на самом деле на улице воспитывался. Просто в меня в детстве заложили так много и мать, и отец, и бабушка, что я, как бы ни был не востребован в профессии, все равно буду работать. Вот дочка вырастет, посмотрит мои работы и скажет: "А папа — гений!"

— А ты-то внутри себя веришь в то, что ты — гений?

— Я не знаю. Но, честно говоря, я ставлю себе самые высокие планки. Мой девиз — "В России ценят только мертвых". Поэтому очень многие из своих работ я не показываю нигде, и никто этого никогда не видит.

— Из моды ты никогда не уходил?

— Из моды нельзя уходить. Вот Поль Пуаре ушел, а когда вернулся, уже никому не был нужен и в нищете умер.

Я работал для кино. С Натальей Бондарчук и с Юрием Нагибиным мы делали "Детство Бэмби", "Юность Бэмби". В цирке много работал с Валей Гнеушевым, он тогда еще был никому не известным. А так, начиная с 78-го года я работал для "Интеграла", потом для "На-На". Бари Каримович умеет взять вещи Вячеслава Михайловича 83-го года, мои 93-го года, свою обувь, все смешать, выпустить вместе с какими-нибудь хвостами и выдавать за свое.

"На-На" стала популярной благодаря песне "Фаина". Бари пришел ко мне на показ, в 91-м году

Данченко. Но потом, когда родители развелись, жизнь забросила меня в урловый район, я стал заниматься боксом, чтоб уметь себя защищать.

У ребенка известных родителей есть два выхода: отречься от родителей или нести свой крест. Я нес свой крест. Этот ярлык будет висеть всегда. Нас давят не известные фамилии, а расхожее утверждение, что на детях гениев природа отдыхает. Кто-то ходит, комплексует: почему я не могу быть Табаковым, почему я не могу быть Кончаловским; пытается уйти в другую профессию.

Мне говорят, что я — большой ребенок. А мне нравится. Называйте меня кем угодно. Я только к виду инфантилен. Но у меня существует колпак. Меня научил один великий мастер восточных дел: все, что за вытантой рукой, тебя не касается, но как только в это пространство кто-то вторгается, это уничтожается — бей, ломай, круши. Этот колпак отсеивает зло и пропускает добро. Папа не воспринимает меня всерьез до конца — и не надо, но всю его нежность, все добро, чувство вины я ощущаю постоянно.

— Ты ведь однажды должен перерасти своего отца...

— Не знаю. Мы же растем не так, как бамбук. А мы ветвисты, и здесь нельзя угадать, чья веточка будет самой новой.

Сен-Лоран поработал год у Диора, ушел, открыл свою фирму. Но мой любимый пример: Мортенсен 20 лет работал у Бальмена стилистом. Я считаю, что отец провел огромную работу, построил фундамент, а я должен достроить дом. Какой смысл мне рядом с отцовским домом строить свою песочницу? А потом Маруся моя придет и напишет в эту песочницу? И каждый из династии начнет создавать свое. Что у нас получится тогда? Хрущевки! Мы должны строить свою башню, вверх, к космосу к звездам, к Богу.

Я не ортодокс. Я свободен для новых идей. Для меня все вокруг чудо. То, что я живу, то, что я дышу. Совсем не ощущаю удовлетворения от сделанного, кайф приходит только в процессе. Это болезнь одинокого человека — страх остаться одному и без дела. Знаю, что такое одиночество и безделье: валяться дома, медленно помирать с молчащим телефоном и пустым холодильником.

Мой отец такой же. Он одинокий человек. Очень рано встает и поздно ложится. И, как Сталин, звонит всем в шесть утра из Америки, орет, почему на работе никого нет. Ему говорят, что время другое, он в ответ матом орет. Я понимаю, что иначе он жить не может. Одиночество — его удел и мой тоже.

С Богом внутри мы рождаемся и приходим к Богу при смерти. Просто за время жизни все вокруг обростае таким количеством лишних подробностей, что мы забываем о том, что есть Бог.

Я не фаталист, но я верю в судьбу. Остался жить, значит, так и должно быть. Я в этом году ставил себе три цели: дочку увидеть, мотоцикл сделать и коллекцию новую показать. И вот я дочку увидел, она вчера даже в гостях у меня была, и мотоцикл починил, и в Сочи на модном фестивале победил...

И опять остался с пустотой.

Яна ЖИЛЯЕВА

ЕГОР ПРИНО

ство мы это показывали. Я использовал наши мелодии. Я вообще музыкальный фанат, у меня с детства были две любимые пластинки — Шульженко и "Битлз" "It's been a hard days night". Стал подбирать русскую музыку, чтобы она по ритмам совпадала. А потом придумал сделать показы под русскую музыку, сначала под Шульженко, потом стали использовать "ДДТ", "Лазертского". До меня дошло, что я ввел еще и четвертое измерение — поэзию. Я подбирал из отдельных песен-стихотворений большое стихотворение-коллекцию, получалось очень сюрно. Шли наслонения текстовые, смысловые.

Вскакиваю ночью — приходит идея. Потому что нарисовать-то две секунды и ткань подобрать, а сделать спектакль, слепок с себя за какой-то период... Можно было все коллекции называть "Я — такой-то год", "Я — такой-то".

— Разочарование в профессии наступило когда-нибудь?

— Я все время в сомнениях. Мягкая натура. Из-за спор с отцом, от невостребованности очень часто хотелось на все плюнуть. Я часто от отца получал, при-

у меня была тема Востока — шаровары, всякие смешные вещи под "Шананай", песню пела никому не известная турчанка. После показа Алибасов подошел и попросил одну мелодию. А потом пригласил меня домой, предложил послушать варианты "Фаины" и показал отснятый материал для съемок. Видимо, они забывали включать камеру, и все это шло под комментарии Бари Каримовича. Потом для концертов я делал им костюмы.

Я работал с группой "Воскресенье" в 80-м году, и с "Диалогом", и с "Зодчими", и с Оскаром Фельцманом, и с Серовым, и с Киржоровым. И никто из них не платил денег. Только Алибасов платил, а вот "Воскресенье", у них тогда был директором Борис Зосимов, он до сих пор должен мне 40 рублей.

— Егор, а никогда не возникало ощущение: иных уж нет, те далече, а ты все тот же? Вон Валентин Юдашкин вместе с тобой в Доме начинал...

— К Вале я очень нежно отношусь, мы с ним дружили, я ему помогал. Сегодня он — российский Кристиан Лакруа. Просто однажды он пересел в машину своей жены, потом еще в какую-то, а я остался ездить на метро.

Нет, черной зависти у меня никогда не было. Может быть, белая зависть. Завидую тем, у кого есть возможность что-то нарисовать и тут же шить. Были, например, у меня с Готье какие-то пересечения в плащевой группе три года назад. Мои друзья говорят: "Вон твой плащ у Готье в покате". А я отвечаю: "Откуда вы знаете?" Они говорят: "Мы видели твой эскиз!" Но живьем-то мой плащ никто не видел, его сшили только год спустя! Вот это у меня вызывает злость и зависть. Потому что я могу себе позволить делать коллекции только раз в год. На одну отштитую коллекцию приходится как минимум три коллекции, которые в мозгу прокрутились — они отрисованы, подобрана музыка, построены поведенчески. Очень жаль, что огромное количество эскизов так и умирает в столе.

Что такое делать одну коллекцию в год, когда нужно три или четыре? Это все равно что спать с любимой женщиной и не иметь права даже поцеловать ее. Это очень опасные шутки, как у О'Генри в новелле "Когда боги смеются" — однажды все может исчезнуть. Поэтому свои несозданные коллекции я проигрываю в ванной. Моя ванна — это мой ночной клуб. В ванне лежу, обкладываюсь книжками, газетами, слушаю плейер, ишу какие-то настроения...

— В России выросло уже целое поколение детей известных родителей. Такие 40-летние детки.

— Я никогда не объединялся ни с кем ни в какие "поколения", но это и моя болезнь. Я в детстве жил в доме артистов и писателей и дружил с сыном Василия Аксенова Лехой. В нашем доме жили Симонов, Войнович, Галич, Розов, Ножкин. Моя бабушка, мама, была балериной в Театре Станиславского и Немировича-

